## Исповедь юмориста

О. Генри

Перевод М. Лорие.

Инкубационный период длился, не причиняя мне беспокойства, двадцать пять лет, а затем появилась сыпь, и окружающие поставили диагноз.

Только они назвали болезнь не корью, а чувством юмора.

Когда старшему компаньону фирмы исполнилось пятьдесят лет, мы, служащие, преподнесли ему серебряную чернильницу.

Церемония эта происходила в его кабинете. Произнести поздравительную речь было поручено мне, и я старательно готовил ее целую неделю.

Моя коротенькая речь произвела фурор. Она была пересыпана веселыми намеками, остротами и каламбурами, которые имели бешеный успех.

Сам старик Марлоу — глава солидного торгового дома «Оптовая продажа посудных и скобяных товаров» — снизошел до улыбки, а служащие, прочтя в этой улыбке поощрение, хохотали до упаду.

Вот с этого-то утра за мною и утвердилась репутация юмориста.

Сослуживцы неустанно раздували пламя моего самомнения. Один за другим они подходили к моей конторке, уверяли, что я произнес замечательную речь, и прилежно растолковывали мне, чем именно была смешна каждая из моих шуток.

Выяснилось, что я должен продолжать в том же духе. Другим разрешалось вести нормальные разговоры о делах и о погоде, от меня же по всякому поводу ожидали замечаний игривых и легкомысленных.

Мне полагалось сочинять эпиграммы на глиняные миски и зубоскалить по поводу эмалированных кастрюль. Я занимал должность младшего бухгалтера, и товарищи мои бывали разочарованы, если я не обнаруживал повода для смеха в подсчитанной мною колонке цифр или в накладной на плуги.

Постепенно слава обо мне разнеслась, и я стал «фигурой». Наш городок был для этого достаточно мал. Меня цитировали в местной газете. Без меня не обходилось ни одно сборище.

Я, очевидно, и в самом деле был от природы наделен некоторой долей остроумия и находчивости. Эти свойства я развивал постоянной тренировкой. Шутки мои, надо сказать, носили безобидный характер, в них не было язвительности, они не ранили. Еще издали завидев меня, встречные начинали улыбаться, а к тому времени, когда мы сходились, у меня обычно была готова фраза, от которой улыбка их разрешалась смехом.

Женился я рано. У нас был прелестный сынишка трех лет и пятилетняя дочка. Мы, конечно, жили в домике, увитом плющом, и были счастливы. Мое бухгалтерское жалованье гарантировало нас от зол, сопряженных с чрезмерным богатством.

Время от времени я записывал какую-нибудь свою шутку или выдумку, показавшуюся мне особенно удачной, и посылал в один из тех журналов, что печатают такую чепуху. Не было случая, чтобы ее не приняли. От некоторых редакторов поступили просьбы и дальше снабжать их материалом.

Однажды я получил письмо от редактора известного еженедельника. Он просил прислать ему какую-нибудь юмористическую вещичку на целый столбец и давал понять, что, если она подойдет, он будет печатать такой столбец из номера в номер. Я послал, и через две недели он предложил мне годовой контракт и гонорар, значительно превышавший то жалованье, которое платила мне скобяная фирма.

Я был вне себя от радости. Жена мысленно уже венчала меня неувядающими лаврами литературного успеха. На ужин мы закатили крокеты из омаров и бутылку черносмородинной наливки. Освобождение от бухгалтерской лямки — об этом стоило подумать! Мы с Луизой очень серьезно обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что мне следует отказаться от места и посвятить себя юмору.

Я бросил службу в торговом доме. Сослуживцы устроили мне прощальный обед. Моя речь была сплошным фейерверком. Местная газета напечатала ее — от первого до последнего слова. На следующее утро я проснулся и посмотрел на часы.

— Проспал! — воскликнул я в ужасе и кинулся одеваться.

Луиза напомнила мне, что я уже не раб скобяных изделий и подрядов на поставку. Отныне я — профессиональный юморист.

После завтрака она гордо ввела меня в крошечную комнату за кухней. Милая Луиза! Оказывается, мне уже был приготовлен стол и стул, блокнот, чернила и пепельница, а также все остальное, что полагается настоящему писателю: вазочка с только что срезанными розами и жимолостью, прошлогодний календарь на стене, словарь и пакетик шоколадных конфет — лакомиться в промежутках между приступами вдохновения. Милая Луиза!

Я засел за работу. Обои в моем кабинете были расписаны арабесками... или одалисками, а может быть, трапецоидами. Упершись взглядом в одну из этих фигур, я сосредоточил свои мысли на юморе.

Я вздрогнул, — кто-то окликнул меня.

— Если ты не очень занят, милый, — сказал голос Луизы, — иди обедать.

Я взглянул на часы. Да, страшная старуха с косой уже забрала себе пять часов моей жизни. Я пошел обедать.

— Не надо тебе переутомляться, — сказала Луиза. — Гете — или кто это, Наполеон? — говорил, что для умственной работы пять часов в день вполне достаточно. Хорошо бы нам после обеда сходить с ребятами в лес.

— Да, я немножко устал, — признался я. И мы пошли в лес.

Но скоро я втянулся. Через месяц я уже сбывал рукописи без задержки, как партии скобяных товаров.

Я познал успех. О моих фельетонах в еженедельнике заговорили. Критики снизошли до утверждения, что я внес в юмористику новую, свежую струю. Для приумножения своих доходов я посылал кое-что и в другие журналы.

Я совершенствовал свою технику. Забавная выдумка, воплощенная в двух стихотворных строках, приносила мне доллар. Я мог приклеить ей бороду и подать ее в холодном виде как четверостишие, тогда ее ценность возрастала вдвое. А перелицевать юбку да прибавить оборочку из рифм — и ее не узнаешь: это уже салонные стишки с иллюстрацией из модного журнала.

Я стал откладывать деньги, мы купили два ковра и фисгармонию. В глазах соседей я был уже не просто балагур и остряк, как в дни моего бухгалтерства, а гражданин с некоторым весом.

Месяцев через пять или шесть мой юмор стал утрачивать свою непосредственность. Шутки и остроты уже не слетали у меня с языка сами собой. Порой мне не хватало материала. Я ловил себя на том, что прислушиваюсь — не мелькнет ли что-нибудь подходящее в разговорах моих друзей. Иногда я часами грыз карандаш и разглядывал обои, силясь создать веселенький экспромт.

А потом я превратился в гарпию, в Молоха, в вампира, в злого гения всех моих знакомых. Усталый, издерганный, алчный, я отравлял им жизнь. Стоило мне услышать острое словцо, удачное сравнение, изящный парадокс, и я бросался на него, как собака на кость. Я не доверял своей памяти: виновато отвернувшись, я украдкой записывал его впрок на манжете или в книжечку, с которой никогда не расставался.

Знакомые дивились на меня и огорчались. Я совсем изменился. Раньше я веселил и развлекал их, теперь я сосал их кровь. Тщетно они стали бы дожидаться от меня шуток. Шутки были слишком драгоценны, я берег их для себя. Транжирить свои средства к существованию было бы непозволительной роскошью.

Как мрачная лисица, я расхваливал пение моих друзей-ворон, домогаясь, чтобы они выронили из клюва кусочек остроумия.

Люди стали избегать моего общества. Я разучился улыбаться — даже этой цены я не платил за слова, которые беззастенчиво присваивал.

В поисках материала я грабил без разбора, мне годился любой человек, любой сюжет, любое время и место. Даже в церкви мое развращенное воображение рыскало среди величественных колонн и приделов, вынюхивая добычу.

Едва священник объявлял «славословие великое», как я начинал комбинировать: «Славословие — пустословие — предисловие — великое — лик ее...»

Всю проповедь я процеживал как сквозь сито, не обращая внимания на утекавший смысл, жадно ища хоть зернышка для каламбура или bon mot. Самый торжественный хорал только служил аккомпанементом к моим думам о том, какие новые варианты можно выжать из комической ситуации: бас влюблен в сопрано, а сопрано — в тенора.

Я охотился и в собственном доме. Жена моя — на редкость женственное создание, доброе, простодушное и экспансивное. Прежде разговаривать с нею было для меня наслаждением, каждая ее мысль доставляла мне радость. Теперь я эксплуатировал ее, как золотой прииск, старательно выбирая из ее речи крупинки смешной, но милой непоследовательности, отличающей женский ум.

Я стал сбывать на рынок эти перлы забавной наивности, предназначенные блистать лишь у священного домашнего очага. С сатанинским коварством я вызывал жену на разговоры. Не подозревая худого, она открывала мне душу. А я выставлял ее душу для всеобщего обозрения на холодной, кричащей, пошлой печатной странице.

Иуда от литературы, я предавал Луизу поцелуем. За жалкие сребреники я напяливал шутовской наряд на чувства, которые она мне поверяла, и посылал их плясать на рыночной площади.

Милая Луиза! По ночам я склонялся над ней, как волк над ягненком, прислушиваясь, не заговорит ли она во сне, ловя каждое слово, которое я мог назавтра пустить в обработку. И это еще не самое худшее.

Да простит меня Бог! Я вонзил когти в невинный лепет моих малолетних детей.

Гай и Виола являли собой два неиссякаемых источника уморительных детских фантазий и словечек. Это был ходкий товар, и я регулярно поставлял его одному журналу для отдела «Чего только не выдумают дети».

Я стал выслеживать сына и дочь, как индеец — антилопу. Чтобы подслушать их болтовню, я прятался за дверьми и диванами или в садике переползал на четвереньках от куста к кусту.

Единственным моим отличием от гарпии было то, что меня не терзало раскаяние.

Однажды, когда в голове у меня не было ни единой мысли, а рукопись надо было отослать с ближайшей почтой, я зарылся в кучу сухих листьев в саду, зная, что дети придут сюда играть. Я отказываюсь верить, что Гай сделал это с умыслом, но даже если так, не мне осуждать его за то, что он поджег листья и тем погубил мой новый костюм и чуть не кремировал заживо родного отца.

Скоро мои дети стали бегать от меня, как от чумы. Нередко, подбираясь к ним подобно хищному зверю, я слышал, как один говорил другому: «Вон идет папа», — и, подхватив игрушки, они взапуски мчались в какое-нибудь безопасное место. Вот как низко я пал!

Финансовые мои дела между тем шли неплохо. За год я положил в банк тысячу долларов, и прожили мы этот год безбедно.

Но какой ценой мне это далось! Я не знаю в точности, что такое пария, но, кажется, это именно то, чем я стал. У меня не было больше ни друзей, ни утех, все мне опостылело. Я принес на алтарь Маммоны счастье моей семьи. Как стяжательница-пчела, я собирал мед из прекраснейших цветов жизни, и все сторонились меня, опасаясь моего жала.

Как-то раз знакомый человек окликнул меня с приветливой улыбкой. Уже много месяцев со мной не случалось ничего подобного. Я проходил мимо похоронного бюро Питера Геффельбауэра. Питер стоял в дверях и поздоровался со мной. Я остановился, до глубины души взволнованный его приветствием. Он пригласил меня зайти.

День был холодный, дождливый. Мы прошли в заднюю комнату, где топилась печка. К Питеру пришел клиент, и он ненадолго оставил меня одного. И тут я испытал давно забытое чувство — чувство блаженного отдохновения и мира. Я огляделся. Меня окружали ряды гробов полированного палисандрового дерева, черные покровы, кисти, плюмажи, полосы траурного крепа и прочие атрибуты похоронного ремесла. Это было царство порядка и тишины, серьезных и возвышенных раздумий. Это был уголок на краю жизни, овеянный духом вечного покоя.

Войдя сюда, я оставил за дверью суетные мирские заботы. Я не испытывал желания найти в этой благолепной, чинной обстановке пищу для юмора. Ум мой словно растянулся, отдыхая, на черном ложе, задрапированном кроткими мыслями.

Четверть часа тому назад я был развратным юмористом. Теперь я был философом, безмятежно предающимся созерцанию. Я обрел убежище от юмора, от бесконечной, изматывающей, унизительной погони за быстрой шуткой, за ускользающей остротой, за увертливой репликой.

С Геффельбауэром я не был близко знаком. Когда он вернулся, я заговорил с ним, втайне страшась, как бы он не прозвучал фальшивой нотой в упоительной погребальной гармонии своего заведения.

Но нет. Гармония не была нарушена. У меня вырвался долгий вздох облегчения. Никогда еще я не слышал, чтобы человек говорил так безукоризненно скучно, как Питер. По сравнению с его речью Мертвое море показалось бы гейзером. Ни единый проблеск остроумия не осквернял ее. Из уст Питера сыпались общие места, обильные и пресные, как черная смородина, не более волнующие, чем прошлогодние биржевые котировки. Не без трепета я испробовал на нем одну из своих самых отточенных шуток. Она упала наземь со сломанным наконечником, даже не оцарапав его. С этой минуты я полюбил Питера всем сердцем.

Я стал навещать его по вечерам два-три раза в неделю и отводить душу в его комнате за магазином. Других радостей у меня не было. Я вставал рано, мне не терпелось покончить с работой, чтобы можно было подольше пробыть в моей тихой пристани. Только здесь я избавлялся от привычки искать поводов для смеха во всем, что видел и слышал. Впрочем, разговоры с Питером все равно не дали бы мне в этом смысле ровно ничего.

В результате настроение у меня улучшилось. Ведь я имел теперь то, что необходимо каждому человеку, — часы отдыха после тяжелой работы. Встретив как-то на улице старого знакомого, я удивил его мимолетной улыбкой и шутливым приветствием. Несколько раз я привел в крайнее изумление своих домашних — в их присутствии разрешил себе сказать что-то смешное.

Демон юмора владел мною так долго, что теперь я упивался свободным временем, как школьник на каникулах.

Это скверно отразилось на моей работе. Она перестала быть для меня тяжким бременем. Я часто насвистывал с пером в руке и писал небрежнее, чем раньше. Я старался поскорее развязаться с рукописью, меня тянуло в мое пристанище, как пьяницу в кабак.

Жена моя провела немало тревожных часов, теряясь в догадках, где это я пропадаю по вечерам. А мне не хотелось ей рассказывать — женщины таких вещей не понимают. Бедная девочка! Один раз она не на шутку перепугалась.

Я принес домой серебряную ручку от гроба для пресс-папье и чудесный пушистый плюмажик — смахивать пыль.

Мне было приятно видеть их у себя на столе и вспоминать уютную комнату за магазином Геффельбауэра. Но они попались на глаза Луизе, и она завизжала от ужаса. Чтобы успокоить ее, пришлось сочинить какую-то басню о том, как они ко мне попали, но по глазам ее я видел, что ее подозрения еще не скоро улягутся. Зато плюмаж и ручку от гроба пришлось убрать немедля.

Однажды Питер Геффельбауэр сделал мне увлекательнейшее предложение. Методично и разумно, как было ему свойственно, он показал мне свои книги и объяснил, что и клиентура его и доходы быстро растут. Он надумал пригласить компаньона, который внес бы в дело свой пай. Больше всего ему хочется, чтобы этим компаньоном был я. Когда я в тот вечер вышел на улицу, у Питера остался мой чек на тысячу долларов, что лежали у меня в банке, а я был совладельцем его похоронного бюро.

Я шел домой, и к бурной радости, бушевавшей у меня в груди, примешивались кой-какие сомнения. Меня страшил разговор с женой. И все же я летел как на крыльях. Поставить крест на юмористике, снова вкусить сладких плодов жизни, вместо того чтобы выжимать их ради нескольких капель хмельного сидра, долженствующего вызвать смех читателей, — какое это будет блаженство!

За ужином Луиза дала мне несколько писем, которые пришли, пока меня не было дома. Среди них оказалось три-четыре конверта с непринятыми рукописями. С тех пор как я стал бывать у Геффельбауэра, мои писания возвращались ко мне все чаще. В последнее время я строчил свои стишки и заметки с необыкновенной легкостью. Раньше я трудился над ними, как каменщик, — тяжко, с натугой.

Затем я распечатал письмо от редактора того еженедельника, с которым у меня был заключен контракт. Чеки, регулярно поступавшие из этого журнала, до сих пор составляли наш основной доход. Письмо гласило:

«Дорогой сэр!

Как Вам известно, срок нашего годового контракта истекает в конце этого месяца. С сожалением должны Вам сообщить, что мы не собираемся продлить означенный контракт еще на год. Ваш юмор вполне удовлетворял нас по своему стилю и, видимо, отвечал запросам значительной части наших читателей. Однако в последние два месяца мы заметили, что качество его определенно снизилось.

Прежде Ваше остроумие отличали непосредственность, естественность и легкость. Теперь в нем чувствуется что-то вымученное, натянутое и неубедительное, оставляющее тягостное впечатление напряженного труда и усилий.

Разрешите еще раз выразить сожаление, что мы не считаем возможным в дальнейшем числить Вас среди наших сотрудников.

С совершенным почтением

Редактор».

Я дал письмо жене. Когда она кончила читать, лицо ее вытянулось и на глазах выступили слезы.

— Какая свинья! — воскликнула она негодующе. — Я уверена, что ты пишешь ничуть не хуже, чем раньше. Да к тому же вдвое быстрее. — И тут Луиза, очевидно, вспомнила про чеки, которые нам больше не будут присылать. — Джон! — простонала она. — Что же ты теперь будешь делать?

Вместо ответа я встал и прошелся полькой вокруг обеденного стола. Луиза, несомненно, решила, что я от огорчения лишился рассудка. А дети, мне кажется, только того и ждали — они пустились за мною следом, визжа от восторга и подражая моим пируэтам.

— Сегодня мы идем в театр! — заорал я. — А потом — все вместе кутим полночи в ресторане «Палас». Три-та-та-три-та-та!

После чего я объяснил свое буйное поведение, сообщив, что теперь я — совладелец процветающего похоронного бюро, а юмористика пусть провалится в тартарары — мне не жалко.

Поскольку Луиза держала в руке письмо редактора, она не нашлась, что возразить против моего решения, и ограничилась какими-то пустыми придирками, свидетельствующими о чисто женском неумении оценить такую прелесть, как задняя комната в похоронном бюро Питера Гефф... прошу прощенья, Геффельбауэра и Кº.

В заключение скажу, что сейчас вы не найдете в нашем городе такого популярного, такого жизнерадостного и неистощимого на шутки человека, как я. Снова все повторяют и цитируют мои словечки; снова я черпаю бескорыстную радость в интимной болтовне жены, а Гай и Виола резвятся у моих ног, расточая сокровища детского юмора и не страшась угрюмого мучителя, который, бывало, ходил за ними по пятам с блокнотом.

Предприятие наше процветает. Я веду книги и присматриваю за магазином, а Питер имеет дело с поставщиками и заказчиками. Он уверяет, что при моем веселом нраве я способен любые похороны превратить в ирландские поминки.